

# ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ НА  
ВОСТОК

Петр Вяземский  
**Путешествие на Восток**

«Public Domain»

1883

## **Вяземский П. А.**

Путешествие на Восток / П. А. Вяземский — «Public Domain», 1883

«В Июне 1849 года, князь П. А. Вяземский, из своего подмосковного села Остафьева, предпринял путешествие на Восток. Он прожил несколько месяцев в Константинополе, посетил Малую Азию и сподобился поклониться в Иерусалиме Святому Живоносному Гробу Спасителя нашего...»

© Вяземский П. А., 1883

© Public Domain, 1883

## Петр Вяземский Путешествие на Восток

В Июне 1849 года, князь П. А. Вяземский, из своего подмосковного села Остафьева, предпринял путешествие на Восток. Он прожил несколько месяцев в Константинополе, посетил Малую Азию и сподобился поклониться в Иерусалиме Святому Живоносному Гробу Спасителя нашего...

«Когда приближаешься уже к концу земного своего поприща», пишет наш паломник, «и имеешь в виду неминуемое путешествие в страну отцов, всякое путешествие, если предпринимаешь его не с какою-нибудь специальною целью в пользу науки, есть одно удовлетворение суетной прихоти, бесплодного любопытства. Одно только путешествие в Святые Места может служить исключением из этого правила. Иерусалим – как-бы станция на пути к великому ночлегу. Это – приготовительный обряд к торжественному переселению. Тут запаасаешься, не пустыми сведениями, которые ни на что не пригодятся нам за гробом, но укрепляешь, растворяешь душу напутственными впечатлениями и чувствами, которые могут, если Бог благословит, пригодиться и там, и во всяком случае несколько очистить нас здесь.

Как поживешь во Святом Граде, проникнешься убеждением, что судьбы его не исполнились. Тишина, в нем царствующая, не тишина смерти, а торжественная тишина ожидания.

В молодости моей, когда я был независимее и свободнее, путешествие как-то никогда не входило в число моих преднамерений и ожиданий. Я слишком беспечно был поглощаем суетами настоящего и окружающего меня. Скорбь вызвала меня на большую дорогу и с той поры смерть запечатлела каждое мое путешествие. В первый раз собрался я за границу, по предложению Карамзина, ехать с ним; по кончина его (1826 г.) рассеяла это предположение до приведения его в действие. После, болезнь Пашеньки заставила нас ехать за границу. её смерть (1835 г.) наложила черною печатью свою на это первое путешествие. Второе путешествие мое окончательно ознаменовалось смертью Наденьки (1840 г.). Смерть Машеньки (1849 г.) была точкою исхода моего третьего путешествия. Таким образом, четыре могилы служат памятниками первых не сбывшихся сборов и трех совершавшихся путешествий моих. Не взмой меня волна несчастий, я вероятно никогда не тронулся бы с места. Вероятно путешествия мои, всегда отмеченные смертью, кончатся путешествием ко Святому Гробу, который примиряет со всеми другими гробами. Так быть и следовало».

В бумагах князя П. А. Вяземского сохранился *Путевой Дневник*, веденный во время этого путешествия. Дневник сей, состоящий из двух книжек in 4°, писан, по большей части, рукою самого князя Петра Андреевича, в некоторых же местах – рукою княгини Веры Федоровны под диктовку князя, и только на страницах 30 и 31 Княгиня включила несколько строк от себя.

Служивший при нашем посольстве, во время пребывания князя П. А. Вяземского в Константинополе, М. А. Тамазов, сообщил нам, по поводу Босфорских стихотворений князя Петра Андреевича, свое воспоминание о «живописном» *Эюбе*:

«Именитый поэт, передав в некоторых стихотворениях глубокое впечатление, оставленное в нем дивными красотами Босфора, приводит нас к порогу дорогой, в глазах Турок, святыни этого мира очарований. Рука его уже готова отдернуть завесу перед нами; величественные аккорды сложенной им песни готовы уже коснуться слуха нашего; но мы возьмем смелость остановить его на минуту, чтобы, так сказать, приготовить читателей к священнодействию, передав тем из них, которым она неизвестна, историю воспетого поэтом заветного уголка Стамбула.

На первой строке стихотворения встречается название, которое ничего не говорит непосвященному.

Что такое Эюб?

Постараемся объяснить смысл этого названия и набросать, как сумеем, очерк носящей его местности, чтобы не оставить ничего непонятым в пленительной песни князя Петра Андреевича.

Кладбищ много в Константинополе, много в нем кипарисов; все они одинаково располагают к мечтательности и способны вдохновить всякого поэта; но на усыпальнице и кипарисах Эюба лежит особая печать; особая прелесть разлита здесь в сочетании чудес Восточного зодчества с несравненными красотами природы.

На берегу Золотого Рога, там, где он начинает изгибаться дугою, поворачивая свои все более и более суживающиеся воды на право, по направлению к знаменитому Кеат-хана, европейским пресным водам (*Les Eaux douces d'Europe*), густою толпою теснятся гигантские кипарисы около прелестной мечети, около величавого мавзолея, около причудливо изваянных, покрытых золочеными надписями и узорами мраморных памятников. Со всех сторон прижавшиеся к этим белым гробницам, сверкают благоухающие розы; щелкает где-то там соловей, как-бы вознося молитву об успокоении почивших. Все это, освященное таинственною легендою эпохи завоевания Константинополя, не могло не подействовать, с особенным обаянием, на душу нашего вдохновенного поэта.

Вот легенда Эюба:

Чалмоносный завоеватель ликует на холмистых берегах Босфора. С понятною гордостью любит он дорогою добычею, которая, наконец, досталась ему после упорных усилий, его и его предшественников. На одной из улиц Константинополя, прозванной с тех пор *Мэйит-мейданы* – площадью трупов, как простой ратник, пал в кровавой сече, доблестный венценосец, царь греческий Константин, защищая наследие предков, а вместе с ним, пали и Царь-город и все царство Палеологов к ногам татарина.

Громко, бурно торжествует Мохаммед II-й свою победу и всевозможными чувственными уладами как-бы старается вознаградить себя за понесенные боевые труды, отпраздновать успех своего предприятия.

В самый разгар его оргий предстает пред ним его любимый шейх, Ак-Шэмс-уд-дин (белое солнце веры) и сообщает грозному повелителю, что в сновидении последней ночи явился ему Абу-Эюб Ансари; что угодник этот, ревностный ученик и подвижник пророка, павший в 48-м году хиджры (668) под стенами Константинополя, во время похода Иезида, сына Моавии I, против Восточной Римской империи, указал шейху место, где покоятся его кости. „Над ними, сказал он ему, лежит в земле, возле источника, мраморная плита от моей гробницы“. Султан, усматривая в этом сновидении как-бы благословение, ниспосылаемое Пророком, совершенному им подвигу – утверждению его знамени на развалинах великой древней империи, повелел немедленно приступить к работам. И действительно, землекопы отрыли в указанном месте и мраморную плиту, и рядом с нею источник! Этого было довольно для державного ревнителя Ислама! Осуществилось, значит, предсказание, гласившее, что султану, который овладеет Константинополем, определено свыше сделать это открытие!

По воле Фатиха, вскоре, на этом месте, как говорит патриарх Констанций в своей *Константинаде*, из обломков четырех греческих церквей – Святых Пантелеймона, Фотинии, Мамы, Козны и Демьяна, разрушенных здесь во время набегов Болгар и осады Османов, построены были та мечеть и тот мавзолей (тюрьба), о которых мы упомянули выше и которые, таким образом, окружены, против других им подобных в Константинополе, наибольшим ореолом святости.

В мавзолее стоит посвященная памяти Эюба (Иова), гробница из белого мрамора под открытою плитою; возле гробницы – колодезь с водою, проведенною из открытого источника; в голове – знамя, обернутое зеленым покровом; вокруг теплятся неугасаемые лампы. Узор-

чатое водохранилище (чешмэ) с широкими выступами своей крыши, увенчанной золоченою резною колонкой, с разукрашенными нишами и золочеными решетками, с тонкими мраморными колоннами по сторонам, с сетью калиграфически вылепленных по карнизам надписей, дополняет прелесть этой семьи построек.

Все готово. Здания воздвигнуты. Украшения на местах. Мохаммед Фатих (собственно – победоносец, а не завоеватель), со свитою царедворцев и фалангою улэмов (законоведов), вступает в мечеть, где Ак-Шэмс-уд-дин опоясывает его мечем Османа на вечное торжество султанов над гяурами.

Все последовавшие за Мохаммедом османские повелители, на пятый или шестой день во вступлении своем на престол, исполняют этот обряд, заменяющий у них торжество коронации; а священная земля, окружающая эти памятники, служит, начиная с матери Салима ИИИ-го, открытой усыпальницей султанских жен и дочерей. Много их перешло, из раззолоченных теремов Бешикташей и Чераганов, в эти раззолоченные затворы Эюба, не успев, как повествуют некоторые из надписей, ни одну минуту подышать вольным воздухом и *вкусить сладостей земной жизни!* Зачем было родиться этим царевнам, если одни оковы были их уделом: сначала гарем, потом могила! Над этим-то, конечно, вопросом задумались их матери и сестры, тут и там неподвижно сидящие около их гробниц. Нет мудреного, что о том-же думает и тот евнух, который, в ожидании своей султанши, как статуя из черного мрамора, стоит поодаль в тени кипарисов!

О судьба! восклицает поэт Фазыл в одной из эпитафий, прилично-ли, чтобы гнездо прелестной пташки, так пленительно начавшей щебетать, было из камня!»

«Окрест кладбища возник многолюдный квартал, и все, вместе взятое, известно под названием Эюб.

Правоверные пьют воду Эюбова колодца как священную и покрывают плиту угодника приношениями: серебряными монетами, кусками алоэ, янтаря, а чаще всего, белого воска.

Века следовали один за другим – и нога иноверца никогда не переступала порога этих мусульманских святынь. „Напрасно“, говорит, в своей Картине Османской империи Мураджа д'Оссон, уроженец Константинополя, управлявший миссиею шведского короля, „напрасно“, не смотря на мои связи в высшем турецком обществе, добивался я случая осмотреть внутренность этих храмов! Друзья мои, турецкие сановники, отсоветовали мне и думать об этом, так как подобное вторжение подвергло бы жизнь мою несомненной опасности».

«Но Русские где не проходили! Каких препятствий не преодолевали они! Какого зарока не снимали! Стоило одному из них, Царственному Юноше, коснуться чела красавицы, для всех, кроме своих мусульманских поклонников, спавшей четыре века в этом кипарисовом лесу, и она очнулась от заколдованного сна.

Великий Князь Константин Николаевич, в первый же приезд свой в Константинополь, в 1845 году, первый из христиан ступил за порог заветной храмины, затворы которой мгновенно пали пред Его Высочеством. Воспользовавшись проложенным путем, вскоре затем, проник туда и один из Орлеанских принцев.

Пишущий эти строки имел счастье быть в числе лиц, составлявших свиту Августейшего Посетителя во все время Его пребывания на Босфоре и в Бруссе... за исключением этого, можно смело сказать, исторического дня. Вместе с знаменитым живописцем нашим И. К. Айвазовским, прибывшим в Константинополь в свите Его Высочества, он был с вечера в Скутари в гостях у одного армянского примата; сильный *годов* (южный ветер), сопровождаемый дождем, развел зыбь на Босфоре и задержал их, в то утро, на Азиатском берегу. Глубоко сожалея об этой неудаче давно минувших дней, он и до сих пор с отрадою переносит мыслью к прелестному кладбищу Эюба, который послужил князю Петру Андре-

евичу темою приводимого здесь, эпиграфом, стихотворения, так удачно им озаглавленного словом: „Очарование“».

Там, пред *Эюбом* живописным,  
Венчаясь лесом кипарисным,  
Картина чудной красоты  
Свои раскинула узоры:  
Там в неге утопают взоры  
И сходят на душу мечты;  
Там, как ваянья гробовые,  
Одевшись в белый свой покров,  
И неподвижно, и без слов  
Сидят турчанки молодые  
На камнях им родных гробов.  
Волшебный край! Шехеразады  
Живая, сказочная ночь!  
Души дремоты и услады  
Там ум не в силах превозмочь;  
Там вечно свежи сновиденья;  
Живешь без цели, на обум,  
И засыпают сном забвенья  
Дней прежних суетность и шум.

### **15-е июля 1849 года в Буюкдере**

В числе праздников, установленных Русскою Церковью в память и честь святым, день святого и равноапостольного князя Владимира имеет для нас особенное значение и особенную важность. Этот день есть для нас не только праздник христианский и церковный, но вместе с тем и праздник гражданский и государственный. Он принадлежит равно и Церкви, и истории народной. Приобщив себя и свой народ к Церкви православной, Владимир указал путь России. С первого следа, на нем означенного, положил он незыблемое начало её исторических судеб. Все наши события, все что образует нашу народную личность, нашу силу духовную, нравственную и политическую, все наши успехи и приобретения, все очистительные и многоплодные испытания, чрез которые Промысл целебно и спасительно провел нас по пути борений, жертв, преуспеяния и славы, все истекает из светлой и святой купели, в которую Владимир погрузил с собою младенческую Россию. От него зачалось и окрепло наше духовное воспитание и гражданское образование. Им определено наше место в истории человечества. События нашей старины, события нашей новейшей истории, явления настоящего времени и, без сомнения, события будущего связаны и будут связаны союзом нашим с восточною Церковью. Здесь должно искать и точку исхода нашего, и цель, к которой направляет нас Провидение темными, но верными путями. Направления, данные обществам по соображениям человеческой мудрости и расчетам политического честолюбия, – и свидетелем тому служит история, – часто бывают подвержены изменениям, обличая в слепоте человеческую предусмотрительность. Но начала, в которых явно знаменуется вмешательство Божия Провидения, пребывают незыблемы и твердо переносят напоры и потрясения житейских волнений и бурь. Летописи наши выставляют в ярком свете непреложность сей истины. Им же, без сомнения, предстоит в будущем подтвердить ее новыми и убедительнейшими доказательствами. Многое у нас изменилось и многое может измениться в част-

ностях нашего народного быта; но призвание и судьба России преимущественно заключаются в святыне её Православия. В прошедшем – оно наш основной, краеугольный камень; в настоящем – наша опора и сила; в будущем – наш светильник и двигатель.

Эти мысли промелькнули в уме моем при слушании святой литургии в день 15-го июля, в церкви посольского дома нашего в Буюкдере. Чувство духовного благоговения перед совершением святых таинств и обычных обрядов Церкви нашей невольно сливалось с историческими воспоминаниями, которые пробуждает этот праздник. Эти воспоминания, если и не совершению чуждые житейским попечениям, имели однако ж свою торжественность. Они не отвлекали ни мысли, ни чувства молящегося от чистой и святой цели, предназначенной молитве. Они не смущали, не охлаждали умиления; напротив, эти воспоминания придавали настоящему священнодействию новое значение, более доступное слабым понятиям нашим: они яснее выражали на языке человеческого дело Божия Промысла на Русской земле. Особенно на берегу Босфора, вблизи источника, откуда брызнула на предков наших живоносная и спасительная струя, давно уже иссякшая на родине и ныне у нас одних сохранившая свою первобытную и независимую чистоту, нельзя без тайного умиления внимать словам песнопения, которым Церковь наша славословит святого Владимира: «Уподобился еси купцу, имущему доброго бисера, славнодержавный Владиинире, на высоте стола сидя матери градов, богоспасаемого Киева, испытывая же и посылая к Царскому граду уведети православную веру, и обрел еси бесценный бисер Христа, избравшего тя, яко второго Павла, и оттрясшего слепоту во святой купели, душевную вкупе и телесную». Первобытная, благочестивая и поэтическая простота этих выражений везде трогательна и умилительна; но здесь она проникает в душу с особенною прелестью и силою. Давно минувшее живо в глазах олицетворяется. Нить этого *доброго бисера*, непрерывно и цельно протянутая сквозь многие и многие столетия, очевидно, ощутительно связывает прошедшее с настоящим. Здесь священное предание возвратилось к месту колыбели своей. Возрожденное, оживленное воздухом родины своей, оно облекается первобытною свежестью. Слова обветшавшие юнеют и звучат крепче и знаменательнее: в них слышится и святая память прошедшего, и какое-то пророческое предчувствие будущего.

Для нас, Русских, случайных и временных переселенцев на берега Босфора, заброшенных сюда течением разных обстоятельств, общий праздник имел еще на этот раз особенный, частный оттенок. Мы в этот день праздновали именины нашего посланника Владимира Павловича Титова. По русскому обычаю, он угостил единоземцев своих радушным обедом в русских палатах, красиво устроенных между обширным садом, живописно расположенным по уступам высокой горы, и роскошным, величественным Босфором. За обедом пропеты были, в честь именинника, некоторыми из собеседников и собеседниц, следующие стихи, положенные на музыку маэстро Мориони:

Пред минаретами Пророка,  
Здесь, где объятый цепью гор,  
Под небом голубым Востока,  
Светлеет голубой Босфор,  
Мы, дети Руси православной,  
Единодушною семьей  
Поем тебе привет заздравный,  
Наш именинник дорогой.

В дому твоём – для нас Россия!  
Здесь все, чем нам она мила:  
Креста предания святые,

И слава Русского орла,  
И языка родного звуки,  
Чтоб сердцу сердца весть подать,  
И Русские сердца и руки,  
Чтоб брата с нежностью обнять.

Вечер кончился, как обыкновенно кончаются Буюкдерские вечера, многолюдным *рау-том* под открытым небом на Буюкдерской набережной. После знойного, душного дня, недостаточного прохлаждаемого навеваниями Черного моря, теплая, прозрачная ночь вызывает всех жителей из домов и угощает зрелищем и негою наслаждений, невыразимо-сладостных. Небо, воздух, вода, земля, каждая часть отдельно красуется свойственной ей прелестью, и все вместе сливается в одну стройную и чудную картину. Извивистый Босфор широкими, лазурными отраслями раскидывается в разные стороны. Суда, стоящие на якорях, темными оттенками рисуются на его поверхности. Легкие, продолговатые *каики* скользят по нем, как будто бесплотные призраки, не возмущая тишины его ни движением своим, едва заметным, ни плеском весел, без шума в воду опускающихся. Перед домом посланника русский тендер празднично светится веселыми огнями. На противоположном, Азиатском берегу, перерезанные глубокими долинами, возвышаются горы, образуя величественную раму обширной и роскошной картины. Здесь гора, *могила великана*, увенчанная развалинами здания, в котором гнездятся дервиши. Недалеко от неё места, уже заочно нам знакомые памятным для нас событием. Тут в 1833 г. расположен был Русский стан и прозвание *ункеар-скелесси* внесено на страницы нашей современной истории. Вправо выглядывает из сумрака *Тератия* с красивыми домами посольств английского и французского. Здесь на набережной пестреет и кипит настоящий венецианский карнавал. Мимо нас проходит, свивается и развивается разноплеменная толпа в разнообразных одеждах. Тут грек, армянин, турок, славянин, каждый, отличающийся особенным отпечатком в чертах, в походке, рисуется пред вами и придает общей картине отдельный образ, отдельную жизнь и краску. Весь Восток в лицах, и стройный, однообразный Запад теряется в этом радужном смешении красок, разностей и народностей. Вот турок-разнощик, с фонарем в руке, с лотком на голове, диким криком приглашает прохожих полакомиться его неприхотливыми сладостями. Тут расположена при блеске огней вечерняя выставка мороженого; около неё важно и созерцательно сидят беспечные поклонники праздности и лени. Из сеней открытого дома вылетают дикие напевы армянской песни под строй чего-то, похожего на многострунную балалайку; пред дверьми теснится кружок более внимательных, нежели взыскательных слушателей. Эти песни одни нарушают поэтически-безмолвную гармонию ночи. Но и они, при всей своей странности, не вовсе лишены относительной прелести, как все то, что самобытно и носит на себе печать местности и особенности народной.

Но вскоре мысленно уклоняешься от всех этих пестрых видений и забываешь присутствие людей. Невольно уединяешься в себя и, отрешившись от толпы, погружаешься всеми чувствами в зрелище окружающей тебя природы. Только и видишь, только и слышишь, что небо и море. Только им сочувствуешь и любишься ими.

Вот вам, далекие друзья, наскоро наброшенный очерк одного из дней, проведенных мною на берегу Босфора.

### Письмо к С. Н. Карамзиной из Буюкдере

Август, 1849.

Теперь могу с некоторым благоприличием показаться на глаза Софье Николаевне и напомнить ей о себе. В объеме 30 часов, я был 18 часов на коне, более 6 часов на ногах,

карабкаясь на горы и спускаясь с гор, и часов пять отдыхал, если можно назвать отдыхом живую пытку жертвы, преданной на терзание комарам, мушкам и разным другим человеколюбивым насекомым, которые оказали мне по своему гостеприимство в турецкой избе селения Бунар-баши (глаза ключей) и не давали мне прозаически заснуть в поэтической святыне, где некогда стояла знаменитая Троя. Дворец Приама – и за ним турецкая изба! Звучный гомерический Илион – и Бунар-баши! Герои Илиады – и комары и блохи! Какая перемена! Какое падение! *Sic transit gloria umudi!* скажете вы с свойственной вам находчивостью и остроумною ученостью.

Как бы то ни было, такими вышеупомянутыми подвигами ознаменованы были для меня 7 и 8 августа. Из Дарданелл ездил я верхом в Троаду и обратно, под палящим зноем солнца взбирался на гору, именуемую по-турецки Ит-гельмэз, что значит: и собака сюда не влезет! а я, извольте видеть, влез! «Да вы собаку съели», скажете вы с тою находчивостью, которая ни на минуту вас не покидает.

Пойдемте далее: ночью на коне переправился я вплавь через Скамандр; скакал по Троянской равнине, усеянной мраморными обломками храмов, колонн и статуй; на развалинах Троянской твердыни, или древнего Илиума, приветствовал восхождение солнца, того же самого, которое озарило и славу, и падение многих, коротко вам знакомых и приснопамятных героев *Илиады*; был при гробнице Гектора, на скорую руку сооруженной Троянами во время перемирия, дарованного им Ахиллесом, и которая еще и теперь, – так ли, или не так ли, – но загромождена наваленными камнями, как значится у Гомера. Вскочил я и на могилу Ахиллеса, которая величественно и одиноко стоит в виду моря. Я обошел ее почтительно кругом, но не разделся наголо, подобно Александру Великому, и даже не обнажил головы, чтобы не опалиться знойным солнцем. Я пил ключевую воду, ту же самую, в которой некогда жены Троян и прелестные дочери их мыли свое черное белье, и, не смотря на древность этой воды, находил в ней необыкновенную свежесть и заметил, что она нисколько не отзывается мылом, которым могла бы провонять эта известная портомойня. Это навело меня на догадку, что вероятно мыло есть уже новейшее изобретение и не было еще в употреблении во времена Троянской войны. Впрочем смиренно предлагаю вам мою догадку и предоставляю решить ее. Слишком было бы дерзко мне кидать вам пыль в глаза, или мылить их мнимою моею ученостью. Я далек от этого. Напротив, надеюсь при свидании с вами передать на любознательное и опытное внимание ваше некоторые из моих недоумений и сомнений, чтобы с вашею помощью мне самому безошибочнее и основательнее исследовать и проверить мои личные, но беглые впечатления. Не смею даже сам собою решить и главный вопрос, который для многих остается еще сомнительным, а именно: был ли у меня под глазами Илион, или не он? но во всяком случае смею удостоверить, что тут что-то было. А доказательства тому представлю после.

Но как попал я в Дарданеллы, или по-турецки в Богаз-кале-си (Кале – по турецки значит крепость; а что значит *богаз*, виноват – не знаю, вероятно взято с славянского языка, и просто все вместе означает: Бога крепостца, т.-е. Божья крепостца; спросить у Тютчева), а оттуда в Троаду? спросите вы меня. Вот это требует искренней исповеди, в которой изобразится не самая похвальная и блестящая часть моей Одиссеи. Знайте же, что мы 4 августа ночью сели на пароход с Титовым, Андреем Муравьевым, Войцеховичем, Трубецким, Сталем, тремя Русскими художниками, и держали путь на Афонскую гору. Первые сутки плаванья нашего, как вообще всякого плаванья, прошли очень благополучно. Море ласкалось к нам и небо улыбалось. Я давно заметил, что первый день плаванья в море обыкновенно похож на первый медовой месяц новобрачных. Союз самый миролюбивый: упиваешься пегою и счастьем. Убаюканное воображение не предвидит в будущем ни расстройств, ни размолвки, никакой точки преткновения. Так было и с нами. Мы уже переплыли Мраморное море, Гелеспонт, приветствовали поэтическим воспоминанием берега, прославленные

любовью Геро и Леандра и самохвальством Байрона. Перед нами рисовались украшенные блеском баснословных преданий и действительною прелестью своих очерков и Имброс, и Тенедос, и гора Ида, и снежные вершины Самофракии. Заметьте еще притом, что вся эта живая картина была облита и согрета чудесными лучами заходящего солнца, какого ни в Риме, ни в Неаполе я никогда не видал. Зарево чисто золотого сияния, или, если хотите, и что по-моему еще ближе к истине, нежно-лимонного цвета, обняло края видимых нами небес. Вообще небо, когда войдешь в Дарданеллы, уже отражается особенною синевою, которая на Босфоре еще довольно тускла и мало чем отличается от нашего северного неба, впрочем, заметить должно, за исключением звезд, которые здесь горят и блещут несравненно светлее наших вообще лунных ночей, составляющих едва ли не исключительную принадлежность и прелесть берегов Босфора.

В подобных созерцаниях и наслаждениях пробыли мы на палубе до полуночи и отошли в свои каюты с уверением, что проснемся к семи часам утра у подошвы Афонской горы. Скоро сказка сказывается, но не скоро и не так дело делается. Мы только что улеглись, а ветер тут и поднялся. Сперва начал он свежеть и посвистывать, а там уже пустился дуть во всю мочь и реветь. Море уже не улыбалось нам по-прежнему, а бешено и дико хохотало, волнами заливало палубу, швыряло пароход наш то в ту, то в другую сторону. Пароход наш, нечего греха таить, был сложения не крепкого и не в силу было ему бороться с неприятелем, который с каждым часом все становился сердитее и наступательнее. Утомленный, он уже почти не подвигался вперед, а только что держался на море и страшно плясал в присядку на одном месте. Так провели мы несколько мучительных и продолжительных часов. Вы на море бывали, следовательно знаете, что такое морская качка и все её последствия внутренния и внешния, тайные и невольно от избытка сердца изливающиеся. Между тем ветер все продолжал свежеть, так что, признаюсь, меня но коже и под кожей подирал мороз. Наконец капитан парохода пришел объявить Титову, что благоразумнее будет поворотить назад и что по слабости парохода он долее за него не отвечает. Так и было сделано. Мы бросили якорь у Имброса и выждали конца бури под его благодетельною защитою. При обратном входе в Дарданеллы нашли мы русский военный корвет, который тоже, как мы, не знал куда деваться от ветра, стоял прикованный к месту и тосковал по южном ветре для свободного входа в пролив. Командир корвета, явившийся к Титову, брался благополучно и скоро доставить нас на Афонскую гору. Это предложение соблазнило Титова. В течение 20-летнего пребывания своего в здешних краях он несколько раз собирался посетить древние и знаменитые монастыри, и сборы его все оставались неудачными. Обидно и больно было ему на полупути отказаться от цели, долго ему не дававшейся. Для Муравьева Афонская гора была еще привлекательнее. Она стояла на первом плане предначертанного им путешествия и он полагал пробыть на ней месяц или более. Разумеется, он последовал примеру Титова. Отважная молодежь паша и не задумалась, особенно Трубецкой, который в блаженном неведении проспал вело бурю и не видал её даже и во сне. Дошла очередь до меня. Каюсь в малодушии моем. Но бурная ночь так измучила меня физически и нравственно, или нервически, так часто во время тревоги и тоски приходило мне в голову, что куда и зачем я пускаюсь во все тяжкия, что мне суждено заснуть на месте, а не наездничать по волнам и по суше и вызывать на рукопашный бой трудности и опасности, с которыми бороться не умею; все это и многое другое так живо представилось мне, так убедительно и прискорбно проникнуло меня, что я отказался и от корвета, и от Афонской горы и от храбрых сопутников моих. Бедный инвалид телом и духом, остался я на инвалидном пароходе, столь же дряхлом и малодушном, как я. Грустно и обидно было мне смотреть на отважный корвет, который бодро поднялся с места и, легкий на ходу, стал рассекать и топтать волны, как будто насмехаясь надо мною и над трусостью моею. Перед ним и счастливыми, которые доверились ему, все более и более расширялся горизонт и светлело будущее, а я оставался при одном прошедшем. Судьба сжалилась надо

мною и дала мне товарища, с которым мог бы я поделиться стыдом и унынием; в отступлении на пути богомолья последовал за мною, и кто же? один из представителей нашего Святейшего Синода – Войцехович! Это меня несколько утешило и облегчило совесть мою. Мы вышли с ним на берег в Дарданеллах. Отказавшись от душеспасительного подвига, мы вспомнили языческих богов и решились посетить Троаду. Наш консул Фонтон взялся быть нашим вожатым. В старые годы я мог бы подумать, что судьба не без умысла подвернула мне Дарданеллы вместо Афонской горы. Вы знаете, что она не только недоступна женщинам, но что на ней не видится никакая тварь женского рода (впрочем за исключением блох, которых, говорят, там множество). В Дарданеллах, напротив, на первом шагу встретила нас законная представительница прекрасного пола, жена Фонтонна, гречанка, в национальном головном уборе и в черной бархатной, золотом шитой, национальной одежде, которая придавала необыкновенно живописную и поэтическую прелесть красоте её. В старые годы не обошлось бы тут без *отношений* и стихов. Но поэзия рифм и поэзия впечатлений на меня уже не действуют. 14 судьба осталась при анахронизме своем. Позавтракав, сели мы на коней. Наш караван был довольно живописен. Нас всех было человек десять и в числе их турецкие кавасы (род полицейских телохранителей), греки, все вооруженные на всякий случай саблями, пистолетами, ружьями, красиво переброшенными за плечи, в чалмах, в разноцветных колпаках, в широких шальварах, более похожих на юбку, нежели на мужское исподнее платье, в разноцветных куртках, или, пожалуй, *зипунах* (по-турецки зебун). За редкими исключениями, дорога нам лежала по песчаному и голому берегу моря и по степи, выжженной солнечным зноем. Кое-где мелькали колючие кустарники и тощие деревья. О зелени, о траве и не спрашивайте. О цветах и подавно. Лето, как язва, здесь все поедает. Благодать природы и человеческий труд редко давали знать о себе малыми участками обработанных полей и на некотором расстоянии один от другого ключами, камнем обложенными, откуда истекала довольно тепловатая, по чистая вода. Тут караван наш делал коротенький привал для утоления жажды коней и всадников. Эти фонтаны, разбросанные по всему лицу Турецкой земли, по городам, селениям и полям, едва ли не одни свидетельствуют о присутствии человеческой мысли и чувства посреди бессмысленного и мертвого владычества Турков странною, которая только ждет пособия человеческой деятельности и заботливости, чтоб удовлетворить всем потребностям и наслаждениям жизни. Большая часть фонтанов (некоторые из них устроены с роскошью) сооружены вследствие богоугодных завещаний зажиточных Турков, которые определяли капитал, дабы по смерти своей утолять, если не духовную (здесь еще не пробужденную), то по крайней мере телесную жажду бедных и томящихся земных странников – и за то спасибо! Есть по истине за что благословить добрым словом память усопшего благодетеля. В слепоте своей, он как-будто угадал слова неведомого ему Спасителя: «кто напоит одного из малых сих чашею холодной воды, тот не лишится награды своей». – От того ли, что Магомет запретил им хмельное, но Турки большие охотники до воды, и прихотливые и взыскательные ценители. Где ключ свежей и вкусной воды, там уже непременно и кофейная, и сборное место гуляющих, т.-е. неподвижно сидящих Турков и Турчанок. Здешняя гулянья нечто иное, как *посиделки*. Впрочем это встречается в нашем и простом народе и среднем классе. Вообще удостоверяться здесь, что многие наши старинные и в народе сохранившиеся обычаи перенесены к нам с Востока. Россия, лежащая на крайних рубежах Запада и Востока, должна была по неволе забираться то тем, то другим, налево и направо. Напрасно ставят это нам в вину.

В сторону от дороги посетили мы развалины, или, правильнее, место, на коем стоял в древности храм Аполлона, ныне усеянное мелкими мраморными обломками. На этой земле, преданной опустошению, нет даже и развалин. В развалинах сохраняется память старины, а здесь в царстве смерти и ничтожества заглох и этот посмертный голос минувшего.

Далее, въехали мы в греческое селение *Ренкэй* построенное на краю уже известной вам горы Итггельмэз, поросшей лесом, что здесь весьма редко, ибо горы здесь обыкновенно лысые и голые, изрытые и загроможденные камнями. Место живописное и светлое, с обширным видом на море, иллюстрированное поэзией Гомера, который здесь один всюду и всегда жив и все собою наполняет. Селение, как и все греческие селения, отличается некоторою опрятностью и благовидностью, в сравнении с турецкими селениями, запечатленными мерзостью и запустением. Здесь также повеяло на меня Русью. Греческие поселянки напомнили, одеждою и некоторыми приемами, наших крестьянок. Особенно старухи. Молодые, не во гнев будь сказано нашим, вообще стройнее и красивее русских.

В доме, где остановились мы, чтобы дать отдохнуть себе и лошадям, где выпили мы но чашке неизбежного кофе, выкурили по трубке и утолили горячую внутренность нашу несколькими ломтями довольно безвкусного арбуза, нашли мы двух сестер замечательной красоты. Жаль, что не было между нами живописца. На всем пространстве от Дарданелл до Трои одно это селение и окружность его улаживает зрение живого, здоровою и цветущею природою. Все прочее носит отпечаток бесплодия, болезненности и помертвения. Вообще, турецкая природа, даже там, где она оживлена движением и разнообразностью, имеет что-то грубое и дикое, без благородства и величавости. Все как-то смешано, сбито, взьерошено. Нигде не отделяются стройные, чистые облака, которые образуют особенную прелесть картинной Италии. В Италии и сама природа отличается какою-то художественною отделкою. Здесь все чего-то недостает. Любуешься картиною, говоришь: прекрасно! а за восклицанием невольно вырывается возразительно – но! В чем заключается это *но* и все то, что из него изливается – выразить трудно и невозможно. Есть убеждение, но не приищешь доказательства. Впрочем, сила этого *но* таится, может быть, не в окружающей меня природе, а во мне самом. Я болен и мне кажется, что природа больна. Во всяком случае примите мое суждение только к сведению, а не за окончательный приговор. Сужу пока по виденному мною, а многого я еще не видал. Может быть после, когда прояснится мое сердечное зрение, когда более ознакомлюсь с здешними местностями, ожидают меня впереди впечатления, которые во многом исправят мое настоящее неблагоприятное предубеждение. Пока остаюсь при своем мнении, а именно, что природа здесь местами живописна, но что в ней мало поэтического; что свойство красоты её более вещественное, нежели духовное, ничто не умиляет души сладостным унынием; что скорби не отрадно думать здесь о прошедшем и радости мечтать о будущем. Одним словом, здесь, как народ, так и природа, обезжизнены, как будто и на нее повеял тлетворный дух неподвижного исламизма. За то если это не страна поэзии, – живописи здесь обильная жатва. Все так и ложится под кисть и карандаш живописца. Эти стада верблюдов, кочующих в степи; водопои, в которых кони наши утоляли жажду свою; огромные, волами и буйволами запряженные, колесницы, как будто сейчас только-что вывезенные из сараев царя Приама, с хлебом и другими полевыми произведениями; доски, которые тащутся по земле и молотят сырой хлеб, также вероятно допотопное, или по крайней мере до гомерического орудие молотьбы, все это и тысячу других подробностей – драгоценная находка для живописца, особенно когда оживить и распестрить картину резко означенными лицами и странностью одежд и уборов, когда озарить и согреть картину блеском восточного солнца и воздуха, а вдали пролить голубое сияние моря.

Между тем, чтобы не остаться хвастуном, нужно мне пред окончанием повествования моего сделать маленькую оговорку. Читая в начале письма моего, что я вплавь и еще ночью переплыл реку, которую боги наименовали Ксанфом, а смертные Скамапдром, вы без сомнения предались вашим гомерическим воспоминаниям и трепетали за меня. Перед вашим воображением оживотворилась 21 песнь *Илиады*. Вы видели во мне Ахиллеса, бросившагося в Скамандр; вам представилось, что я подобно ему борюсь с божественною и гневною рекою, которая гонится за мною и грозит затопить меня своими поглощающими

волнами. Вслед за Гомером пришел может быть вам на ум Байрон, переплывающий залив, чтобы лишить Леандра славы, которою он ни с кем нераздельно пользовался в продолжение нескольких веков, а еще более, чтобы, в лице Геро, усмирить спес красавиц и доказать им, что подвиг Леандра плевое дело и что красоте нисколько не следует гордиться этою данью; я вижу, что глаза ваши увлажнились слезами, слышу как голосом, дрожащим от сердечного волнения, восклицаете вы: «воля ваша, господа, а подвиг дяди моего еще поотважнее и почище подвига британского лорда! и смотрите, как он скромно о нем отзывается. Патриотическому сердцу моему усладительно видеть, что наши отечественные сочинители ни в чем не уступают чужеземным, а по нравственному достоинству еще во многом превосходят их. С каждым днем более и более горжусь именем Россиянки!»

Софья Николаевна, ради Бога, успокойтесь, выкушайте водицы и закурите пахитос. Восторг ваш крайне для меня лестен, он умиляет душу мою признательностью к вам. Но дайте вам доложить всю правду. Совесть моя не позволяет оставить вас в заблуждении. В подвиге моем не было никакого подвига. Я не Леандр и не Ахиллес и не лорд Байрон. Не знаю, что был Скаандр во время десятилетней осады Трои, но ныне эта знаменитая река самая мелкая реченка, которую курица безопасно в брод переходит. Правда, сказывают, что и в наше время зимою накапливается она водами, стекающими с гор, широко разливается и затопляет все окрестности. Но тут, уверяю вас, не подвергался я ни малейшей опасности.

На другой день, вечером, возвратился я в Дарданеллы, ночевал под гостеприимным кровом красивой гречанки, а на следующее утро сел на французский пароход, битком набитый беглыми мятежниками венгерскими, польскими, сицилийскими, римскими, и отправился и благолучно прибыл в Константинополь. Ночь была тихая и плавание самое покойное, так что мне ни разу не сгрустилось, то-есть не стошнило. И слава Богу что не было бури, а то при устройстве паровой команды могла бы случиться беда. Капитан парохода был отчаянный социалист, а прочие офицеры отъявленные охранители и легитимисты. Офицеры и капитан были в непримиримой вражде и не говорили друг с другом. Вероятно они воспользовались бы бурей, чтобы потопить один другого и мы сделались бы жертвами этой междоусобной ненависти.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.